

УДК 171:172

ГЕОРГИЙ ДЕРЛУГЬЯН,

*профессор социологии и государственной
политики Нью-Йоркского университета в
Абу-Даби, ОАЭ*

Социальное неравенство в эволюции человеческих обществ

Эта статья может показаться провокативной по своему историческому масштабу и по аргументации. Надеюсь тем самым вызвать дискуссию о настоящем и ближайшем будущем нашей мировой системы. В свою очередь, выдвижение и оценка гипотез требуют серьезных теоретических оснований. Я утверждаю, что такие основания могут быть найдены в исторической реконструкции социальной эволюции, под которой я понимаю весьма продолжительный процесс — от истоков происхождения человеческого вида вплоть до настоящего времени и будущего. Это отнюдь не абстрактные рассуждения. Эволюционная логика, раскрывающаяся ныне благодаря совместным усилиям многочисленных исследователей, предпринимавшимся на рубеже XXI века, проливает свет на происхождение неравенства и социальной власти в человеческих обществах. К тому же рациональное знание о власти и неравенстве само по себе является необходимым условием целенаправленного изменения общества.

Послевоенное восстановление, начавшееся с 1945 года, способствовало и росту столь характерных для модерна интеллектуальных притязаний на научное объяснение паттернов (принципов) строения человеческих обществ — от самих истоков истории вплоть до проекции в будущее. Отправной точкой было, пожалуй, тревожное осознание угроз жизни на планете, исходящих от недавней фашистской политики уничтожения народов по расовому признаку и надвигающейся перспективы ядерной войны и глобальной экологической катастрофы. Однако эти страхи вытеснялись огромным оптимизмом и выражавшим дух эпохи ощущением всемогущества человека. Всеобщее ожидание нового прогресса подпитывалось победой над нацизмом, одержанной в 1945 году, послевоенным экономическим ростом и увеличением благосостояния, прекращением террора и началом демократизации в коммунистической Вос-

© Г.Дерлугьян, 2019

© Перевод с английского — А.Малюк, 2019

точной Европе, а также завоеванием независимости бывшими колониями с их решимостью “развиваться”. Не в последнюю очередь всемирное распространение университетского образования и быстрое наращивание научных исследований породили новые надежды на могущество современной науки. Главными коллективными героями послевоенной трансформации мира стали целые национальные государства либо массовые движения, стремящиеся основать национальные государства в бывших колониях. Отсюда вытекало ключевое значение государства, общественных движений, революций и их идеологии, а также направляемого государством развития для исследовательской программы того, что получило название (возможно, слишком узкое) исторической социологии.

В 1970–1980-х годах историческая социология переживала свой “золотой век”, чему способствовало накопление во многих странах исследований в области социальных наук [Collins, 1999]. Одна за другой рождались теоретические идеи, пересматривающие каноническую проблематику социальных наук. Это освобождение от довлеющих над сознанием парадигм XIX века (“unthinking”) позволило добраться до множества труднопроходимых мест [Wallerstein, 2011]. Но оно также оставило много неосвоенного пространства, которое необходимо исследовать, обустроить, присоединить к уже обжитому и, в конечном счете, связать с неакадемическими, доступными дискурсами. Короче говоря, у нас много работы.

Основополагающие нарративы исторических трансформаций были в своем макровидении в основном телескопическими, начиная с грандиозных амбиций теорий модернизации и заканчивая более критичными и в то же время осторожными теориями, такими как неовеберрианский синтез Майкла Манна или мир-системный подход Иммануила Валлерстайна. Но как только параметры новой парадигмы складывались, фокус исследований становился более микроскопическим, даже если их предметом по-прежнему были такие макрофеномены, как формирование государства, элиты, революции, демографические процессы или товарные цепочки. В истории обычно доминировали грубые материальные факторы политической экономики и вооруженной силы. Тем не менее были и редкие моменты, когда, казалось, на первый план выходят пробуждающие энтузиазм масс пламенные идеологии. Такие моменты возникали, как правило, при крахе политико-экономических систем, наступавшем вследствие военного поражения, финансового кризиса, относительной перенаселенности (особенно затрагивающей элиты) и действия обычных причин, вызывающих революции [Hanson, 2010]. Поэтому нам следует не задаваться абстрактным вопросом “будет ли?”, а отвечать на более конкретные вопросы — “когда?” и “при каких условиях?” человеческая воля, преобладающая в идеологическом видении и политическом действии, способна возобладать над унаследованными от прошлого структурами экономики и геополитики.

В свой золотой век 1970-х годов новое поколение макроисторических теоретиков столкнулись с оппозицией двоякого рода, обычно возникающей в моменты прорывного интеллектуального творчества. С одной стороны, то были арьергардные оборонительные действия уже сложившихся школ: пока еще живого ортодоксального “партийного” марксизма и либеральной теории модернизации, возродившейся в 1990-х в энтузиазме по поводу глобализации. Неоклассическая же экономика ушла, по сути, в себя, замкнувшись в непробиваемой обороне своих привилегированных институцио-

нальных бастионов, где экономисты мейнстрима, находясь в блестящей изоляции, смогли бесконечно продолжать свои схоластические труды. Другая же разновидность критики была ультраавангардной. Она призывала ко все более новым волнам интеллектуальных инноваций, включая проблему гендерной идентичности или новейшие инструменты математического моделирования. Однако авангардные манифесты не воплощались в фундаментальных трудах того же калибра, который был характерен для макроисторической социологии “семидесятников”. В итоге на гуманитарном фланге образовалось интеллектуальное болото под общей рубрикой постмодернизма, лишавшее общественную мысль воли и сеявшее глубокий пессимизм относительно возможности социальных изменений.

Интерес к макроисторической социологии и ее смежным интеллектуальным проектам в антропологии, истории и экономике развития резко сократился после 1989 года. В этом поворотном пункте современной истории молниеносное обращение восточноевропейских диссидентов в неолиберальную ортодоксию Запада довершило колоссальные изменения в глобальном интеллектуальном климате. Сколь бы ни критиковали Фрэнсиса Фукуяму и Сэмюэля Хантингтона, именно они наиболее ярко выразили господствующие с тех пор представления об окончательном историческом триумфе рыночного либерализма либо вечном конфликте националистических фундаментализмов, названных “цивилизациями”. Теперь мы можем видеть последствия этого процесса в тупиковости стремящихся к большему эгалитаризму народных восстаниях на Западе, в арабских странах, России, Украине и по всему миру. Наличие социальной энергии очевидно. Однако недостает надежной карты существующих социальных реалий и компаса, указывающего на новые возможности использования этой энергии. Действительно, полезная карта должна содержать предупреждения наряду с указаниями наилучших путей в пункты назначения. И все же, какими могут быть эти лучшие конечные пункты маршрута? Можно ли их указать на основе того, что мы теперь знаем об изменяющихся моделях человеческих обществ?

Позвольте вкратце разъяснить, что я имею в виду под социальной эволюцией и как мы можем ее мыслить. Социальная эволюция имеет, по крайней мере, два разных, но диалектически взаимосвязанных механизма. Первичным двигателем можно назвать, вслед за видным социологом-веберийцем Майклом Манном, коллективную власть людей над природой [Mann, 1987]. Антропологи и археологи предпочитают называть этот процесс “производственной интенсификацией”. Это означает кумулятивные изменения в технологии, знаниях и социальной организации, позволяющие людям преодолевать экологические ограничения и увеличивать свою численность [Johnson, Earle, 2000]. В этой рубрике можно выделить еще два эволюционных потока. Первая стратегия выживания вытекала из того, что биологи называют “адаптивной радиацией”. Под ней понимается распространение человеческих групп в новые продуктивные среды, от мелководного океанического побережья с его обилием продуктов моря до северной “мамонтовой тундро-степи”, где когда-то обитали крупные млекопитающие. Затем, около восьми тысяч лет назад, когда постгляциальный климат стабилизировался, целесообразным и исключительно важным шагом многих из наших предков стала интенсификация производства путем одомашнивания растений и животных и перехода, таким образом, к сельскому хозяйству и животноводству [Ristvet, 2007].

И вот здесь обнаруживается великий неустранимый парадокс социальной эволюции. По мере того, как люди domesticiровали растения и животных, усиливая свою власть над природой, они также учились “приручать” и других людей. Особо обратим внимание на то, что переход к земледелию, хотя и непреднамеренно, превратил самих земледельцев в тягловую силу, в рабочий скот [Scott, 2017]. Ранние покорители социальной природы становились вождями и правителями, используя то, что Майкл Манн точно и емко назвал “эффектом клетки”, присущим экономике оседлого типа [Mann, 1986]. Случалось, что “эффекты клетки” могли срабатывать и в группах собирателей, особо щедро наделенных природными ресурсами, по всей видимости, еще в эпоху верхнего палеолита. Но значительное вложение труда в сельское хозяйство (особенно в ирригационном земледелии) и возникающее отсюда увеличение прибавочного продукта создали самоусиливающуюся комбинацию “эффекта клетки” и инерционного эффекта динамики экономического роста, повышающую социальную сложность земледельческих популяций. Это включало и появление новых институтов ведения войны, поскольку теперь имело смысл не просто совершать грабительские набеги, но и завоевывать и поработать соседей, занимающихся производительным трудом. Рост социальной сложности означает эволюционный прогресс. Но исследуя этот извилистый путь прогресса, среди археологических находок мы обнаруживаем также новые специализированные и всегда довольно дорогие виды клинкового оружия, такие как мечи или кинжалы, созданные исключительно для убийства других людей. Также мы обнаруживаем все более внушительные храмы, где свершались сложные ритуалы и жертвоприношения, в буквальном смысле воплотившие в театрализованных зрелищах новые идеологические основы власти [Flannery, Marcus, 2012].

Вождество налагается на коллективную власть людей. Его властные и предпринимательские аспекты становятся второй движущей силой социальной эволюции. Вождество, соответствующее представлению Майкла Манна о деспотической власти, в свою очередь, покоится на трех основаниях: экономическом, военном и идеологическом контроле. Я предлагаю называть их элементарными формами власти. Политическая власть возникает в истории позднее, вместе с новыми институтами государства. Государства значительно интенсифицируют темпы исторической трансформации, которая в последние столетия достигает поистине революционных масштабов. Вопрос, который сейчас стоит перед нами, тот же, что стоял и перед первыми мыслителями-эволюционистами конца XIX века, — в каком направлении будет развиваться эта прогрессия дальше?

Чисто теоретически, существует всего три возможности. Во-первых, социальная эволюция, если она нарушает экологические и социальные условия существования человечества, всегда может привести к вымиранию. Теперь мы знаем, что в прошлом вымирание — полное или частичное — постигло множество популяций людей. Сегодня общепризнанными среди угроз, которые, как подозревают, могут положить конец жизни на земле, являются деградация окружающей среды, эпидемии новых неизлечимых болезней и атомное оружие. Возможны и другие, нераспознанные угрозы существованию человечества на планете. Второй эволюционный сценарий — стагнация на достигнутом уровне развития. Действительно, неизменным желанием многих современных либералов и консерваторов является завершение социальной эволюции на достигнутом уровне. Аналитической про-

блемой касательно этого ожидания является отсутствие четко определенного механизма (за исключением, конечно, проповеди элит), посредством которого социальная эволюция может замедляться до комфортной остановки в обществе, характеризующемся классовым и этническим статусным неравенством. Наконец, третьей логической возможностью является выход социальной эволюции на какой-то новый ее виток. Но что осмысленного мы можем сказать об этой возможности, если наше недавнее прошлое и настоящее не имеют исторического прецедента?

Только благодаря тщательной исторической реконструкции мы могли бы выявить определенную логику в калейдоскопической последовательности “кристаллизации власти”. Общие сомнения в теориях социальной эволюции указывают на проблематичность применимости дарвиновских принципов за пределами биологии. Но должна ли всякая эволюция быть дарвиновской? Ключевые механизмы культурных изменений выглядят скорее ламарковскими, нежели дарвиновскими: наследование знания посредством обучения, целенаправленное объединение и слияние разных традиций [Gould, 1996]. Последние пару столетий, собственно в современный период, наука значительно расширила и развила эти два механизма изменения знаний.

Является ли знание властью? Возможно, оно составляет ключевой компонент любой власти, хотя, само по себе, и не является источником власти. Наоборот, производство и использование знаний зависит от условий, вытекающих из основных источников социальной власти. Тем не менее, макроисторическая социология последовательно демонстрирует, что социальные изменения возникают в зазорах между основными узлами системы. Современные университеты были созданы в XIX и XX веках в административных, военных и промышленных интересах государств и их правящих элит. Но после 1945 года университеты колоссально расширили набор студентов и распространились по всему миру с вновь возникшей задачей, связанной с инкорпорацией поднимающихся социальных низов и ранее угнетаемых групп, политический вес которых возрастал в ходе мировых войн, последующих революций, реформ и деколонизации. Несмотря на неолиберальную политику жесткой экономии, университеты в целом оказались чрезвычайно устойчивыми институтами. Они были защищены престижем и коллективной силой своего профессорско-преподавательского состава, который на самом деле стал чем-то вроде новейшей разновидности рабочей аристократии. Но по большей части высшее образование в ходе мировой трансформации после 1945 года стало центральным элементом в жизненном цикле воспроизводства образованных специалистов среднего класса, и поэтому оно существенно сказывалось на надеждах всех тех, кто стремился занять позиции среднего класса. По сути, университеты превратились в центральное место соперничества — как классового, так и по линии других социальных идентичностей.

Промежуточное положение университетов при позднем капитализме, их разветвленная организация и статусные интересы их многочисленных представителей, как постоянных (преподавателей), так и временных (студентов), создают потенциал для выдвижения политических требований, способных изменить существующее распределение власти. Коллективная власть над природой, достигнутая человечеством, все же может стать менее монополистической сконцентрированной и более коллективно распределенной. Если это напоминает вам о бунтарских надеждах 1968 года, то это не случайно. Период 1956–1989 годов (с которым не случайно связано начало золотого века мак-

роисторической социологии) отмечен как раз первой волной массовых выступлений образованных специалистов против “системы”. Их провал, за которым последовал длительный период реакции, был в своей основе провалом идеологической картины мира. Образованные диссиденты в индустриально развитых странах, руководствуясь больше дорациональным отвращением, нежели здравым смыслом, не пошли по пути ранних революционеров, воплощением которых были якобинцы и большевики. Экстремальный опыт начала XX века показал, что революционная стратегия последних, заключающаяся в захвате власти в отдельных государствах в условиях современной военной геополитики, чревата рисками тоталитарной диктатуры и войны. Вместо этого диссиденты 1968 года искренне восприняли доминирующие реформистские идеологии своих государств, требуя социализма или либерального капитализма “с человеческим лицом”. Макроисторическая социология, увы, подоспела слишком поздно, чтобы ее недавно добытые идеи смогли повлиять на идеологию и политику практических социальных изменений в сторону большего эгалитаризма. Не опоздает ли она вновь?

В этой статье я хочу очертить, по необходимости, масштабную идею эволюции. Последняя начинается в прединформационной и тянется вплоть до нынешнего века глобализации, когда старые элементарные типы власти, присущие личному вождеству, все еще функционируют поверх современных институтов государственной и частной бюрократии, между ними и внутри них. С наибольшей очевидностью это проявляется в широко распространенных ныне феноменах полевых командиров, мафиозных крестных отцов, религиозных и светских идеологических антрепренеров и, главное, в коррумпированности политиков и корпоративных боссов. Однако масштабы современных государств и бизнес-корпораций значительно превышают обычный диапазон возможностей контроля единоличных правителей. Здесь обнаруживает себя ключевое политическое противоречие нашего времени: наложение индивидуальной деспотической власти на публичную инфраструктурную власть (коллективную по простой причине ее действительного масштаба и сложности). Вождистская власть коррумпирует публичную власть, используя институциональные правила и потоки ресурсов на благо лишь околовластных элит. Однако в самом этом противоречии скрывается возможность политической программы, способной вывести социальную эволюцию на более эгалитарный путь. Ситуации, при которых элементарные типы социальной власти оказались в монопольном владении вождей и прочих “боссов”, могут обернуться всего лишь преходящим историческим эпизодом — пусть даже длящимся несколько тысячелетий, но все же только эпизодом, фазой в длительной эволюции человеческих обществ. Давайте кратко проследим основные линии, по которым она развивалась.

Все погребения изначально были равны. Как правило, ранние захоронения были коллективными. В археологии эти коллективы описываются как небольшие группы людей, которые заняли прочное положение в своих продуктивных экологических нишах. Это могли быть земли, обильные ресурсами для богатой охоты, рыболовства и собирательства или разнообразными рудиментарными садами. Прошлые попытки связать этапы социальной эволюции с конкретными технологиями оказались не соответствующими действительному ходу истории [Johnson, Earle, 2000]. Значение на самом деле имел, по-видимому, размер человеческой группы, которая могла воспроизводить себя в данной экологической нише, используя доступные про-

изводственные методы. Разнообразные и все более аналитически изощренные данные по очень длинному периоду предыстории указывают на то, что эгалитарная коллективная власть человеческих групп долгое время превосходила вертикальную иерархически организованную социальную власть над человеческими коллективами. Очевидно, что коллективная власть также удерживала под контролем социальную власть и амбиции стремящихся к возвышению индивидов, потенциальных вождей. В последние десятилетия возник целый поток литературы, включая бестселлеры, представляющий поведение злобного шимпанзе как модель человеческого индивидуализма. Это неприкрытая апология определенной идеологической позиции. Однако знания, полученные социальной наукой, могут также помочь оценить и соответствующие претензии идеологий.

Профессиональные исследования приматологов показали, что поведение современных высших обезьян, таких как гориллы, шимпанзе и бонобо, не может служить непосредственно моделью для объяснения социального поведения людей [Voehm, 2001]. Наш диапазон поведения намного шире, чем у других видов, очевидно потому, что человеческие мотивации в основном являются культурными и ситуативными. Если отвлечься от жестокого межгруппового насилия, — которое также является очень человеческим поведением, хотя оно встречалось, по всей видимости, реже среди ранних и менее распространенных групп населения — люди явно более кооперативны и альтруистичны, чем любые другие общественные приматы [Turchin, Currie, Whitehouse, s.a.]. Афористично выразил эту же мысль гибралтарский биолог Клайв Финлейсон — люди составляют уникальный вид, у которого индивидуальная уязвимость непосредственно не чревата скорым летальным исходом [Finlayson, 2009]. В конце концов, не обезьяны, а именно люди, обнаруживаемые на всех континентах, обладали невероятными благоприятными способностями, такими как рыбная ловля с помощью крючков, охота с помощью целенаправленно разработанного для этого метательного оружия, а позднее и разведение крупного рогатого скота и верховых лошадей. Претенденты на установление вождества, как мужчины, так и женщины, постоянно встречаются среди людей. Тем не менее антропологи зафиксировали ряд контрстратегий, сдерживающих претензии на первенство, — от насмешек и возбуждения стыда до изгнания из группы и группового убийства, нередко во сне. Все это изначально ограничивает и направляет предпринимательскую энергию потенциальных вожаков на общее благо и достижение коллективных целей [Cashdan, 1980]. Это принципиально важный исходный рубеж, который необходимо установить.

Однако с некоторого исторического момента, к великому удовольствию музейных работников, в археологической летописи возникают куда более богатые индивидуальные захоронения. Кто были эти исключительные люди, взирающие на нас из своих богатых погребений, которые, как правило, были давно разграблены их же предприимчивыми современниками? Это архаические претенденты на власть, которые преуспели в создании точек контроля в сетях групповых конфликтов, либо коллективных убеждений или же обмена материальными ценностями. Точка контроля здесь является ключевым словом: возникновение этих регулирующих устройств стало возможным только после того, как сети социального взаимодействия превзошли коллективные способности малых групп родственников и добрых соседей. Другими словами, историческая интенсификация социальных взаимо-

действий породила ресурсные структуры, которые в свою очередь сделали возможным контроль, защиту и наложение моральных санкций. Отсюда и историческое появление персонажей, которых в общем можно обозначить как Воина, Жреца и Купца. Но они еще не были великими Правителями, потому что в доисторический период претенденты на власть не могли обеспечить логистику и материально-техническую основу создания государства.

В любом случае архаичные вожди были людьми слишком занятыми. Если бы вы сами решили стать великим вождем, опору на какой из элементарных типов власти вы бы предпочли в первую очередь: военную мощь, экономическое богатство или идеологические убеждения? Как и все, связанное с секретами властвования, это вопрос с подвохом! Если вы оказались столь наивны, чтобы сделать тут выбор, то вы уже провалили экзамен на будущего вождя. Задолго до Макиавелли или, если уж на то пошло, японской видеоигры “Покемон”, логика накопления социальной власти предписывала: “Поймай их всех!” У элементарных типов власти нет своего козырного туза. С одной стороны, никто не будет сражаться за нищего вождя. С другой стороны, богатство требует, чтобы его защищала сила. И наконец, немногие стали бы молиться и приносить жертвы в самопровозглашенном храме, если бы никто не вложил в впечатляющие украшения и ритуальные зрелища, одновременно карая конкурирующих “лжепророков” и прочих еретиков.

Источники социальной власти не являются свободно парящими самостоятельными абстракциями. Власть — это бесконечный и сложный процесс сплетения потоков взаимодействий людей, включенных в социальные сети, которые становятся различимыми только в результате нашего научного анализа. В реальном потоке жизни воздействие силы, богатства и ритуала скорее слитно. Но не все типы власти одинаково важны или возможны в разных географических и исторических контекстах. В некоторые эпохи ведущую роль играет завоевание. Но где-то еще завоевание может оказаться попросту неосуществимым; это особенно касается отдаленных местностей, куда не всякая армия доберется. Тогда более выгодной может оказаться торговля. Такие лукавые расчеты и возможности, обусловленные случайными историческими обстоятельствами, являются главной причиной возникновения пестрой и, на первый взгляд, бесцельной последовательности исторических форм власти: племенных вожеств, храмовых общин, торговых городов-государств, кочевых орд, феодальных владений и периодически возникающих и распадающихся империй.

Этот вывод стал камнем преткновения для многих эволюционных теорий, чересчур прямолинейно выводимых из эмпирических обобщений. Власть на самом деле является одной из разновидностей “первовещества”, элементарных стихий — подобно воде, огню и ветру. Следовательно, вожество — это созданный человеком узел, скопление стратегически важных точек в социальных сетях. Вожди доминировали в истории человечества с момента изобретения деревни в эпоху неолита, если даже не раньше, в верхнем палеолите. Подчеркнем момент, обладающий фундаментальной важностью: вождей можно обнаружить везде, где расширение социальных сетей создало возможности для монополизации контроля над стратегически важными точками.

В самой абстрактной формулировке персональное вожество представляет собой определенное “сплетение” трех первоначальных элементов — элементарных типов власти. Оно содержит в себе все преимущества руко-

творного инструмента. Он специально приспособлен к конкретным обстоятельствам и может — и должен — постоянно переделываться под постоянно изменяющиеся обстоятельства. Самое главное, каждое из вожеств сделано по мерке и плотно прилегает к руке его главного создателя и владельца. Как в высшей степени личностный и весьма адаптивный процесс осуществления доминирования вожество должно быть построено на произволе и деспотизме. В конце концов, вожество создается, чтобы управляемая общность оставалась в пределах одной и той же начертанной вождем линии. В противном случае вожди не смогут воспользоваться безопасным выходом на пенсию, будь то в архаическом прошлом или в нынешних “пожизненных президентствах” в арабских странах или в путинской России. Вожество дает многочисленные преимущества своим хозяевам, что и обеспечило выживание этого древнего социального конструктивного решения в наши дни. Среди этих преимуществ — возможность навязывания деспотической воли подчиненным, многозадачная адаптивность, относительная изоляция от народных требований и, конечно же, сладкие плоды власти и вдохновляющее чувство исключительности своего положения.

Однако негативные аспекты вожеств вытекают из их же преимуществ, то есть из деспотической власти, которой наделены вожди. Личное господство неизбежно ограничено в пространстве и времени. Простые вожди (то есть вожди протогосударственных образований или те, кто действует в порках государств как мафиозные доны, харизматичные проповедники или полевые командиры) могут лично знать в лучшем случае нескольких сотен членов своих формирований, отдавать им приказы и вручать полагающиеся награды. Они могут уверенно управлять только небольшой областью, которую можно пересечь из одного конца в другой за пару дней. Вожество ограничено физическими пределами личностного надзора и контроля. Более того, начальник должен производить впечатление человека, соответствующего своему положению и способного проводить в жизнь свои приказы. Старение и болезни являются извечными и беспощадными врагами всех успешных вожеств. Междуцарствие представляет собой момент наивысшей опасности и хрупкости их существования, именно потому, что все вожества подобны вещам, изготовленным по мерке заказчика, в том смысле, что сообразуются с личными особенностями и потребностями их управлятеля, обычно самого основателя вожества.

Тогда не так уж сложно понять, почему архаичные претенденты на вожество стремились создать государства, а также почему они раз за разом терпели неудачу в этом нелегком деле. Государства — это, по сути своей, машины. Как и все машины, государства расширяют человеческие способности сверх изначально данного нам от природы. Государственная власть гораздо масштабнее того, что любой отдельный вождь может когда-либо организовать и контролировать. Однако, согласно парадоксальной логике своей исторической диалектики, государственная власть, чтобы оставаться как можно более всеохватной, также вынуждена становиться интенсивной и глубоко проникающей в общество. В ходе мировой истории многие великие вожди подходили к порогу создания государственной власти, но только немногие избранные смогли преодолеть этот порог и остаться в живых достаточно долго, чтобы обеспечить продолжительность правления своих династий на государственном уровне организации власти. Это связано с тем, что техники социальной интенсификации — грамотность, бюрократия и ры-

ночная коммерциализация жизни — оставались рудиментарными вплоть до достижения невероятно высокого уровня развития в лице Римской империи, ханьского Китая и, особенно, современного капиталистического Запада. Домодерные вожди, как бы разнообразны ни были их облачения и раскраски, были ограничены элементарной морфологией сифона. Они выкачивали ресурсы, часто совершенно безжалостно, как в случае грабительских набегов и рабства, и даже тогда — только те ресурсы, которые можно было отделить и выкачивать из элементарных производственных единиц крестьянских и скотоводческих домохозяйств. По своей сути “редистрибутивная экономика” Карла Поланьи, феодальный “рэкет” Чарльза Тилли и “рышущие разбойники” Мансура Олсона описывают в целом одну и ту же реальность. Ограничивающим фактором являлось не деспотическое право на то, чтобы выкачивать прибавочный продукт, а скорее то, сколько (мало!) можно было реально выкачать и использовать для целей государственного строительства в бедном аграрном обществе.

Государственная власть неудержимо привлекала самых амбициозных вождей именно потому, что государства обещали гораздо больше богатства и власти. Однако в течение нескольких тысячелетий государства оставались деспотичными и весьма ограниченными. Чего еще можно было ожидать от систем господства в рудиментарных аграрных обществах? Устойчивый контроль и взимание дани с территорий, находящихся за пределами непосредственно прилегающей к вождеству сферы его влияния, по-прежнему оставались проблематичными.

Ранние государства, при отсутствии рынков и развития индивидуализации, могли лишь частично институционально разрешить проблему основного агента. Домодерные правители экспериментировали со всеми видами механизмов личной власти: плодя множество наследников мужского пола в гаремах (которые, увы, затем часто убивали друг друга); назначая рабов на административные должности, используя евнухов; продвигая этнических инородцев, как в случае с находящимися в зависимости от милости правителей купцами или наемниками и мамлюками; перетасовывая личных клиентов и “друзей”, как поступали римские императоры со своими *amicī* — наместниками в провинциях. Однако ни один из механизмов не дал удовлетворительных результатов в долгосрочной перспективе, поскольку клиенты, отправленные в провинции, имели тенденцию обрастать связями и растворяться в местных обществах; то есть, опираясь на местную поддержку, они начинали формировать свои собственные династические вождества.

Другим замечательным выходом из затруднительного положения стало создание имперских цивилизаций, точнее, распространение элитарных моделей престижного потребления, религиозных ритуалов, языка и письменности. И опять же, сплоченность элит в древних цивилизациях зависела от карьерных ожиданий, материального вознаграждения от завоеваний и размера добычи или, когда выгоды завоеваний резко сокращались, от элитной торговли и коллективной обороны. Все такие цивилизации неизбежно порождали на своих внешних границах различные “варварские” вождества, питаемые торговлей и военными набегами на имперские владения. Наиболее известными примерами были германские племена в Европе и степные кочевники в Азии. Что затем и обернулось “Средневековьем” при ослаблении классических империй.

Именно этот, описанный в самых общих чертах, механизм направлял столь хорошо знакомый ритм жизни империй, периодически терявших устойчивость и разрушавшихся, что порождало эпохи “феодальной” децентрализации. Тем не менее в периоды возвращения к более мелким, автономным и более конфликтным формам социально-политической организации некоторые вожди все более сокращали пространство “тьмы темных веков”. В такие эпохи фрагментации имперские техники власти распространялись и подвергались вторичной переработке посредством существенного дополнения их различными варварскими инновациями [Anderson, 1974]. Чередование централизованных империй и феодализмов в очень долгосрочной перспективе отчетливо указывает на наличие особой эволюционной динамики [Lieberman, 2003, 2009].

“Возвышение Запада” — канонический пример эволюционного прорыва. Разумеется, есть и другие примеры такого синтеза, когда представители ранее варварских племен из периферийных регионов могли подобрать и с большой изобретательностью рекомбинировать ценные фрагменты, оставшиеся от централизованных империй. Это, например, арабский халифат, средневековые Бирма и Япония. Классический греческий полис является примером более древних цивилизационных субстратов, из которых представители ионийских и дорийских племен создали собственную цивилизацию рабовладельческой демократии. Поучительным для нашей теории является то обстоятельство, что древние греки возникли из краха империй бронзового века в XII веке до н.э. [Cline, 2014]. В последующие “темные века” греки превратились в общинно организованных земледельцев, специализирующихся на экспортно-ориентированном производстве оливкового масла и вина и одновременно в воинов-пехотинцев раннего железного века. Вино+оливки в сочетании со столь удачно изрезанным морским берегом и более доступным железным вооружением в сумме дают классический греческий полис. Раннемодерный Запад также может показаться уникальным во многих отношениях — от его богатого римского наследия до его счастливой географии (которая, впрочем, означала катастрофу для коренных американцев). Однако рассмотрение процессов, протекавших на Западе, в более широкой перспективе предполагает, что в какой-то момент переход к “модерну”, включая современный экономический рост, должен был совпасть с процессами в Евразии и запустить капиталистическую динамику. Для того имелось множество традиционных барьеров, но было также и множество факторов, способствующих развитию в этом направлении [Collins, 1999a].

Капитализм вырос из рыночной динамики, которая возникла на много веков раньше и была широко распространена на трех континентах Afro-Евразии [Abu-Lughod, 1989]. Исторический прорыв капитализма произошел в дальнезападном кластере соперничающих феодальных коалиций (“Европы”), которые в своей средневековой форме выглядели скорее как вожества, чем как бюрократические государства. Задача будущих поколений ученых состоит в том, чтобы сформулировать синтетическую теорию перехода к капитализму, но уже сейчас ее элементы представляются вполне определенными — и они материалистические. Даже такие старые (и в какой-то мере идеологические) разногласия относительно роли христианства в возникновении капитализма в значительной степени разрешены теперь благодаря смещению акцента на материальные аспекты церковной органи-

зационной инфраструктуры и межэлитных конфликтов относительно присвоения церковных активов и полномочий [Lachmann, 2000].

Движущим фактором подъема Запада выступает грубая материалистическая военная геополитика. В Европе возникла устойчивая ситуация, при которой многочисленным воюющим монархам приходилось привлекать мобильный космополитический капитал, чтобы увеличить свою вооруженную силу, а государства помогли капиталистам коллективно как классу снизить их расходы на защиту [Arrighi, 2010]. В свою очередь, капитализм предлагал претендентам на государственную власть качественно новую разновидность властного “метаболизма”. Если архаичным претендентам на вождество приходилось полагаться на принудительное изъятие огромного количества жизненных средств, современные претенденты на власть в государстве имели в своем распоряжении гораздо более гибкие и быстро доступные капиталистические финансы.

В раннемодерную эпоху рынки давали возможность западным правителям все еще не очень крупного масштаба содержать гораздо более крупные и более профессиональные военные силы, чем когда-либо могла позволить взимаемая дань. Но не менее важно то, что крупные суммы денег, полученные от частных кредиторов, позволяли строителям раннемодерных государств на Западе приобретать, притом в значительных количествах, новое и баснословно дорогое техническое обеспечение власти в виде пушек и океанских парусников [Cipolla, 1965]. Впервые в истории стало возможным завоевание мира в действительно планетарном масштабе. Однако извечно расколотый Запад одновременно распространил по миру несколько колониальных империй, чье торговое и геополитическое соперничество несло в себе семена своего собственного разрушения. Занятость на военной службе и колонизация поддерживали заработную плату на относительно высоком уровне, по крайней мере, в таких странах, как Англия. В свою очередь, высокая заработная плата сделала окупаемыми долгосрочные инвестиции в технологические инновации [Allen, 2011]. Вследствие всех этих важных изменений государства могли и, в конечном счете, должны были позволить себе стать довольно крупными, весьма бюрократическими и очень экспансионистскими.

Нет необходимости долго рассказывать о том, что впоследствии произошло с социальной властью на Западе. Эта история в разнообразных вариантах является сегодня одной из тем, наилучшим образом разработанных в новой исторической социологии. Государства, действующие в капиталистической среде, обзавелись обширной инфраструктурой обеспечения властных полномочий и отравили множество “щупалец”, глубоко проникающих в общество. Но тот же процесс наращивания инфраструктуры породил обратный эффект, позволяя обществу предъявлять государству претензии и требования. В конце XVIII и в XIX веке эта новая возможность способствовала развитию двух конкурирующих идеологий гражданства: национализма и социализма. Идеологической реакцией элиты стал главным образом центристский, поэтапно реформистский и притом уважающий институты собственности либерализм [Wallerstein, 2011]. Простолюдины, а отныне “граждане” своей нации теперь приобретали для правителей своих государств значение желательного исправных налогоплательщиков, квалифицированных рабочих и патриотичных (и в целом здоровых) военнослужащих. Государство было теперь просто вынуждено как-то считаться с запросами граждан. Ибо в противном случае, без положительной реакции на свои чаяния граждане

станут создавать общественные организации, используя новые возможности образования и технологии коммуникации, и примутся за организацию массовых протестов вплоть до революций [Tilly, 1990]. В основе действенности требований граждан лежит, в конечном счете, сохраняющееся геополитическое соперничество государств. Наиболее успешные забастовки, реформы, революции, а также деколонизации совершенно не случайно возникают и прокатываются целыми волнами как раз после больших войн, в особенности двух мировых войн XX века [Silver, 2003].

Момент исторически наивысшей способности граждан влиять на государство наступил после 1945 года. И это возвращает нас к нашим исходным аргументам. Указанный момент беспрецедентных прогрессивных политических изменений и социального прогресса способствовал оптимизму, столь сильному во всем мире в течение 1950–1960-х годов. Холодная война, разумно ограниченная с обеих сторон, на самом деле оказалась исключительно благотворной для экономического роста, реформ социального благосостояния, проектов развития, не говоря уже о щедром финансировании науки. Период холодной войны также привел к огромной экспансии власти государства во всем мире. Ни один другой период в истории не отмечен созданием такого количества министерств образования, здравоохранения и экономического планирования. Даже различные партизанские армии в Латинской Америке, Азии и Африке теперь стали создавать свои собственные школы, клиники и женотделы. Это стало обязательным тестом на их международную и внутреннюю легитимность. В тот же период обеспечение общественного порядка также достигло самого высокого уровня в крупных городах, в том числе и в Палермо, Одессе, Шанхае и Чикаго [Derlugian, 1996].

Все это подразумевало усмирение вождей государствами и народными движениями. Фактически, укрощение вождей было центральным элементом формирования современных государств, устранивших или, по крайней мере, инкорпорировавших в себя в качестве собственных внутренних органов. В наиболее явном виде это воплотилось в истории создания современных вооруженных сил, превращающихся из изначальной военной аристократии в офицерский корпус бюрократически организованных профессионалов. Другой путь вел к превращению бывшей аристократии в провинциальных нобилей, а затем избираемых политиков или принадлежащих к элите профессиональных коммерсантов, использующих символический капитал своих старинных титулов, хороших манер и связей — если, конечно, их предкам удалось избежать ярости революционного террора. Судьба тех, кто в Новое время обладал идеологической властью, не слишком отличалась. Священники и религиозные иерархии были постепенно приведены в бюрократическое подчинение интересам соответствующих национальных государств и национализированы в их рамках. Ведущими голосами современных идеологий стали светские журналисты, партийные пропагандисты, творческие интеллектуалы или, если уж на то пошло, профессора социальных наук.

Историческая тенденция укрощения вождей, однако, пережила катастрофический провал вследствие Первой мировой войны. Ужасная дезорганизация побежденных империй и их господствующих классов открыла путь к захвату государственной власти революционными социалистами, а следом за ними (и в пику им) также контрреволюционными ультранационалистами фашистского толка. Развивая методы мобилизации военного времени, эти движения создавали устрашающе эффективные тоталитарные

диктатуры, соединяющие инфраструктурную мощь современного бюрократического государства с деспотической силой новых “революционных императоров”, прототипом которых был Наполеон Бонапарт. Фашистский тоталитаризм был ликвидирован в ходе войны, и едва ли можно себе представить, как это могло закончиться чем-либо другим, кроме войны. Коммунистический тоталитаризм, который никогда не был столь же апокалиптическим, как его фашистские враги, обладал более длительными и разнообразными траекториями развития. Отметим, что во всех коммунистических государствах верховные вожди в итоге были укрощены изнутри своими бюрократическими элитами и интеллигенцией, чьи ясно выраженные предпочтения были устремлены к либерализующим реформам вместо бесчеловечного давления военно-политической мобилизации. Однако советская бюрократическая номенклатура никогда не старалась избавиться от институциональной раковины своего промышленно высокоразвитого и многонационального государства. В конце концов, в ходе давно откладываемых реформ она довольно случайно разобрала на куски это государство и его экономические активы. В то же время коммунистические кадры в Китае успешно перестроили свой аппарат — гораздо более простой с институциональной точки зрения — и превратили его в последнее расширенное издание восточноазиатского государства развития. Коммунизму в XX веке, в конце концов, не было суждено победить капитализм, но он также не был совсем уж обречен на крах [Derluguain, 2013].

Тоталитаризм, однако, не следует рассматривать как бедствие, относящееся исключительно к прошлому. Его причины лежат не в какой-то определенной идеологии, а в беспрецедентном могуществе современного государства. Повторим, государство является машиной, генерирующей и направляющей социальную власть. Как и любая другая машина, оно может использоваться по-разному: от предоставления социальных благ до слежки за гражданами или даже уничтожения целых групп населения.

Темная сторона современных государств никуда не делась и может вновь проявиться в будущих кризисах. Условия вполне определены: это элиты в момент паники перед лицом разбушевавшихся масс, идеологическая поляризация в обществе плюс военизированные формирования, возникающие на крайних политических флангах вследствие дезорганизации государства в центре. Текущее распространение частных сил безопасности и особенно современных средств электронного наблюдения добавляет новые опасности. Теория социальной эволюции может давать оптимистичные прогнозы, но от нее можно услышать также и важные предостережения. Тоталитарные вывихи останутся постоянной угрозой, пока мы живем в государствах и сталкиваемся с возможностью крупных и внезапных кризисов.

Лишь одна из разновидностей современных вождей никогда не была полностью приручена государствами. Это, конечно же, частные капиталистические предприниматели. Капиталисты, глобальные купцы модерна, смогли выжить и добиться успеха в торге с правителями государств, угрожая убежать в другие юрисдикции вместе со своими капиталами, связями и организационными навыками. Конечно, государства могли изгнать и уничтожить своих капиталистов, как когда-то пытались сделать коммунисты. Националистические государства в третьем мире отличались от коммунистов лишь тем, что экспроприировали (“национализировали”) активы только у определенных иностранных или “компрадорских” категорий капита-

листов. Но это никогда не работало в долгосрочной перспективе и даже в краткосрочной часто вызывало экономические катастрофы. Причина, по видимому, заключалась в том, что различные антикапиталистические государства XX века прибегали к использованию суррогатов военного командного стиля управления. Между тем командные высоты мировой экономики всегда находились под частным контролем крупнейших капиталистов, связанных с самыми могущественными государствами в центрах мировой системы. Эти капиталисты, находящиеся в центре мировой системы, могли даже принять различные социал-демократические и кейнсианские компромиссы, чтобы укрепить свои позиции в свете геополитических и внутренних, исходящих от широких народных слоев, вызовов. Государства всегда играли важную роль в таких оборонительных стратегиях.

Капиталисты никогда не были совершенно враждебны государственной власти, несмотря на то, что их классовая идеология пытается уверить нас в этом. Капитализм развился и распространился по всему миру рука об руку с развитием и распространением современных государств. Это не случайно. Модернизация и в то же время колонизация, осуществляемая западными государствами ядра, с самого начала предполагала создание для капитализма безопасной глобальной социальной среды, обеспечивающей извлечение прибыли. Со своей стороны капиталисты поддерживали (редко без значительных барышей) финансовое обращение, накопление богатства и легитимность государств.

Однако в любой развивающейся сложной системе среда со временем необратимо изменяется. Капитализм первоначально возник в преимущественно аграрном мире, где его основные прибыли извлекались из дальней международной торговли и государственного долга. В эту раннюю эпоху капитализма издержки капиталистического предприятия были в основном связаны с обеспечением охраны и военной защиты. Крестьянские хозяйства, как и прежде, продолжали традиционно нести на себе издержки общественного воспроизводства, в то время как стоимость природных ресурсов сводилась к их добыче и транспортировке. В этой ситуации было целесообразно осуществить интернализацию охранных издержек бизнеса путем слияния интересов государственной и капиталистической элиты. По мере того, как государства становились все более капиталистическими и, следовательно, более современными, у капиталистов в свою очередь возникала заинтересованность в том, чтобы становиться более национальными. Тем не менее по-настоящему крупные капиталисты всегда поддерживали для целей ведения бизнеса, обеспечения престижа, ради удовольствий и, не забудем также, заключения браков свои элитные космополитические сети, которые к тому же обеспечивали в случае необходимости и каналы бегства.

По мере того, как современная мировая система продолжала расширяться и развиваться, капиталисты все чаще сталкивались с потребностью интернализации издержек. Промышленная революция, по сути, означала скачок в интернализации издержек производства товаров. Далее, однако, социальные классы индустриальной эпохи и организованные ими протестные движения стали добиваться интернализации издержек общественного воспроизводства, сначала только в западных странах, а в конечном счете и по всему миру. Рыночные потрясения XIX века привели к интернализации транзакционных издержек посредством отраслевых картелей, а затем и корпораций. Великая депрессия 1930-х годов вызвала к жизни государственное

регулирование в действительно массовом масштабе. В условиях мировых войн и вызовов со стороны фашизма и коммунизма все это выглядело для многих капиталистов как насущно необходимая цена выживания.

Громадная цена победы 1945 года обеспечила задел на три послевоенных десятилетия процветания, мира и законности. Однако, с точки зрения капиталистического класса, у стратегии уступок и позиционного сдерживания имелись свои пределы. Такой предел, очевидно, был достигнут в ходе глобальной волны восстаний в 1968 году. Протестные движения, независимо от их риторики, на самом деле не выдвигали слишком уж революционных требований. В сущности, они хотели того же самого, только больше: более прочного мира, большего благосостояния и большей демократии. Важное и пугающее отличие заключалось в том, что движения 1968 года требовали всего этого как неотъемлемых прав человека, а не как милостивых уступок. Показательно, что если эти движения на Западе, Востоке и Юге и имели между собой нечто общее, так это их отвращение к начальникам, к Большим Боссам, воплощающим патерналистский характер государств и крупных экономических предприятий. Нация-государство само теперь становится клеткой, где капиталистические вожди сталкиваются со связывающим свободу рук регулированием вплоть до (чего они так боялись) полной национализации.

Поэтому глобализация является не просто структурным продолжением ранее развивавшихся локальных процессов или неизбежным этапом исторического прогресса. Скорее глобализация возникла как политическая и экономическая стратегия, проводимая влиятельными субъектами, которые в то время упоминались под рубрикой “транснациональные корпорации”. Они настаивали на отказе от компромиссов, восходящих к временам Великой депрессии и мировых войн. Глобализация наряду с дерегулированием позволила крупному бизнесу — прежде всего американскому — избегать ограничений, замыкающих экономическую деятельность в скорлупе национальных границ, где, как опасался бизнес, политические требования могли бы загнать его в угол и заставить пойти на немислимые уступки. В ситуации значительной исторической неопределенности транснационалам здорово помогли неожиданный взлет и провал горбачевской перестройки, положившей конец холодной войне, а заодно и существованию Советского Союза. Если бы Горбачев или более реалистичный кремлевский лидер преуспели в превращении положения советской сверхдержавы в приглашение вернуться на почетных условиях в капиталистические экономические сети Европы, не было бы неолиберального Вашингтонского консенсуса, а вместо этого ось Париж — Берлин — Москва способствовала бы формированию более регулируемого рынка. Тогда и глобализация могла бы принять иную форму и характер. Но эта историческая возможность не реализовалась. Еще одним непредвиденным обстоятельством стало столь же неожиданное открытие маоистского Китая западному, прежде всего американскому, бизнесу. Восточная Азия стала основным местом, где реализовывалась новая бизнес-стратегия аутсорсинга. Это то, что выдающийся географ Дэвид Харви назвал “пространственным решением проблемы” для капитала [Harvey, 2005].

Протесты 1968 года, к которым мы должны добавить массовые мобилизации 1989 года в коммунистической зоне мировой системы — от Восточного Берлина до Пекина — ознаменовали завершение эгалитаристской тенденции эпохи модерна. Аграрные государства отличались настолько высокой степенью неравенства, что подчас было невозможно количественно определить

социальную дистанцию между рабами и рабовладельцами. Неравенство, характерное для аграрных обществ, в значительной и все в большей мере преодолевалось в модерную эпоху капитализма. Эволюционные изменения впервые отмечаются на Западе в ходе конструирования национального гражданства и системы социального обеспечения. В XX веке эти изменения быстро, хотя и неравномерно, стали распространяться и на другие регионы мира. Просто сравните дистанцию, отделяющую ситуацию 1968 года от ситуации в мире, являвшейся нормой в 1868 году, не говоря уже о 1768-м. В 1968 году на Западе, а затем и в результате восточноевропейских революций 1989 года утвердился новый социальный класс. Возрастающая доля протестующих и, конечно, очень многие из их лидеров являлись, с институциональной точки зрения, лицами наемного труда с высшим образованием — называемыми то студентами, то интеллигенцией, то специалистами или рабочим классом “научно-технического века”. Фундаментальной реальностью этого социального класса (к которому, признаем, можем принадлежать и мы сами) является зависимость от регулярной заработной платы во взрослой жизни. Это делает нас сродни пролетариату. Но новые наемные работники обладают довольно значительным объемом сложных знаний (профессионального или символического капитала), накопленных в течение длительного периода обучения в школе и университете. Еще одним отличием от положения западного пролетариата эпохи Карла Маркса сегодня является то, что занятость и жизненные условия образованных специалистов в подавляющем большинстве случаев зависят от крупных безличных институтов, от бюрократий — будь то государственные органы или частные корпорации.

Новый народный класс позднего капитализма обладает значительным символическим капиталом, высокой самооценкой, значительной численностью и обширными взаимосвязями (да, интернет имеет огромное значение, каким бы оно ни было эфемерным и противоречивым). В то же время этот класс страдает от подчинения, а также монотонного и относительно плохо оплачиваемого конторского труда, если не от страха перед несущей с собой унижение безработицей. Как результат — очень противоречивое классовое сознание. С одной стороны, новейшая разновидность пролетариата подвержена анархизму как форме протеста против безличной и бюрократической “системы”. Это можно проследить в контркультурных движениях 1960–1970-х годов и символическом неприятии коммунистического чиновничества в 1980-е годы. С другой стороны, зарождающиеся установки на самоутверждение против доминирующих институтов находят свою форму и цель в консьюмеризме, фантазиях “креативного класса” и “независимых стартапов”, вплоть до рыночного либертарианства. И в дополнение к этому — еще один возможный идеологический уклон — религиозный фундаментализм и мистика в духе “Нью-Эйдж”. Должны ли мы тогда удивляться, что этот новый класс, с того момента, когда его ранние антисистемные побуждения ушли в никуда, настолько легко был привязан к неолиберальному проекту в этой новейшей реинкарнации буржуазной гегемонии?

Ирония заключалась в том, что врожденное противоречие между приоритетами общественной легитимности и частной прибыли заставляло капиталистов предавать своих вновь обретенных политических сторонников из образованных средних классов. Энтузиазм в отношении глобализации и компьютерных технологий разрушился при осознании того, что и “пространственное решение проблемы” (перемещение рабочих мест в бывший “тре-

тий мир”), и “технологическое решение” (изобретение каких-либо новых продуктов и передовых рынков) привели к баснословному воспроизводству нормы прибыли для небольшого меньшинства за счет массового уничтожения квалифицированных рабочих мест среднего класса [Collins, 2013]. Национальная гордость, как и ксенофобские предрассудки народных масс на капиталистическом Западе (ныне включающем и Россию), неизбежно будут задеты осознанием необходимости обращаться за помощью к государствам, обслуживающим интересы олигархического крупного бизнеса. Это не спасает от критического истощения государственных бюджетов вследствие масштабных финансовых операций по спасению банков и других финансовых институтов после крупной рецессии 2008 года. В отсутствие позитивной политической альтернативы это растущее отчаяние при восстановлении неравенства может привести скорее к “возрождению всей старой мерзости” (Маркс), чем к надежде. Отсюда настоятельная необходимость перестройки всего интеллектуального проекта исторической социологии и экономики развития.

Я начал с обещания продемонстрировать основания для оптимизма относительно эволюционного будущего человечества. На фоне интеллектуального климата последних трех десятилетий может показаться нелогичным все еще надеяться на расширение бюрократической власти крупных организаций. Позвольте объяснить этот парадокс. Мы начали с очень ранней предыстории, установив, таким образом, точку отсчета. Люди отличаются от других приматов именно своими моделями социального поведения. Наиболее успешные формы адаптации наших предков заключались, по-видимому, в достижении более высоких уровней эгалитаризма и альтруизма. Мы, можно сказать, любознательные и пытливые, общительные и готовые к взаимодействию существа, весьма нерасположенные к неравенству. Это необычно позитивное утверждение касательно природы человека все чаще находит доказательства в приматологии, антропологии и микросоциологии индивидуальных взаимодействий [Collins, 2008]. Но все изменилось с переходом к сельскому хозяйству и достижению гораздо более высокой плотности населения, когда меньшинство стало социальным хищником, в то время как большинство было доведено до уровня тягловых животных [Scott, 2017].

Исторический поворот в развитии социального неравенства коренится в быстро меняющейся политической экономии современного Запада. Капитализм произвел стремящиеся к установлению демократии силы сопротивления, если не собственных могильщиков, и наделил их способностью к мобилизации ресурсов. В то же время государства содействовали созданию национальных политических арен и гражданств, которые теперь могут выдвигать к своим правителям согласованные требования. Это был процесс, полный революций и контрреволюций.

Но правители не могут больше позволить себе действовать как пекущаяся только о собственных интересах и капризная аристократия, чтобы не погибнуть в ходе современных войн между государствами и революционных потрясений. Правящие классы превратились в бюрократических служащих государства, гражданских и военных чиновников или же служителей культа, а также светскую интеллигенцию и профессионалов. Бывшие вожди усмиряли себя, вступая на государственную службу. Их потомки цивилизовались вследствие демократических притязаний при отборе кандидатов на высшие государственные должности [Elias, 2000]. Так государства, спроек-

тированные как военные машины и аппарат для извлечения налогов, были вынуждены предоставлять гражданам гарантии от самих себя. Современные государства приобретают новые “неестественные” для них функции, такие как регулирование рынка и социальное обеспечение [Bourdieu, 2014].

Современная демократизация достигалась и консолидировалась под угрозой войн и революций, но даже и тогда очень неравномерно. Пугающие крупные рецидивы происходили в течение XX века. Только после 1945 года, конца крупнейшей войны в истории человечества, произошла демократизация, консолидированная на Западе, и она начала быстро распространяться на другие регионы мира. На уровне конкретных историй все это кажется довольно случайным, обусловленным конкретными обстоятельствами. Но на уровне всемирно-исторического обобщения этот процесс представляется эволюционным, потому что неравномерное нарастание социальной сложности препятствует полному откату назад, устраняя непримиримых консерваторов в проигранных войнах и все чаще благодаря успешным революциям и реформам.

Рассматриваемые под этим углом зрения последние неолиберальные десятилетия могут выглядеть как эволюционная аномалия. Происхождение неолиберальной реакции не было неизбежным: могло ли это явление приобрести глобальный размах без падения Советского Союза? Неолиберализм стал гегемонистским проектом, потому что классовые фракции западных капиталистов, в основном связанных с Соединенными Штатами, по разным историческим причинам сохранили значительную автономную власть в 1970–1980-х годах по сравнению с другими фракциями элиты. Это, в конечном счете, было связано с тем, что Соединенные Штаты непосредственно не пострадали от огромного стресса мировых войн и последующих народных восстаний. И прежде всего в Америке верхушка капиталистов оставалась группой личных вождей. Нет, в том, что они возглавляют частные корпоративные бюрократии, нет никакого противоречия. Из биографий топ-менеджеров, и особенно из журналистских расследований в связи с регулярно происходящими скандалами мы можем узнать, что на самой верхушке корпорации управляются именно как вождества. Признаком и преимуществом реальной власти в современном бюрократическом институте является способность вывести себя из-под отчетности и бюрократической рутины. Когда в 1970-х годах капиталистические вожди столкнулись с опасностью новой волны регулирования и налогообложения, то есть перспективой быть окончательно усмирненными и включенными в качестве простых экономических менеджеров в государственные структуры, они энергично противодействовали этому и спасались в не подверженном регулированию прибежище глобализации.

Неолиберальная реакция имела более чем достаточно времени для подрыва и разрушения легитимности государств и тех средств, которые государства используют с целью самозащиты от разного рода посягательств. Последнее, очевидно, включает в себя и защиту от своекорыстного разрушения природной среды. Но если эта устрашающая перспектива вообще начала отдаленно вырисовываться на горизонте несколько десятилетий назад, то более непосредственные последствия видны повсюду. В последние годы многие мелкие вожди вышли из повиновения и стали довольно хищными. Они выступают под разными именами, в том числе “диких” спекулянтов, олигархов, коррумпированных членов политического класса, популистов,

гангстеров, торговцев людьми, полевых командиров, религиозных фанатиков и террористов. При всех их различиях эти персонажи имеют одну общую черту: они являются своекорыстными и алчными предпринимателями, находящимися вне общественного контроля.

Но будет ли эта самая поздняя версия “темного века” концом истории? К счастью, слишком многое в нашей недавней истории и институтах (которые, напомним, обладают “вязкостью”) противится этой перспективе. Подавляющее большинство государств остаются в целостности и сохранности, а многие из них в Латинской Америке и Восточной Азии продолжают консолидироваться. Марксистско-ленинская ортодоксия, которая когда-то намеревалась стать новоявленным христианством, прекратила свое существование. Идеологическое поле потеряло большую часть своего поляризующего напряжения, с его цензурой ортодоксальных границ, и поэтому смогло стать более открытым к инновациям. Американская гегемония все еще размахивает кулаками на Ближнем Востоке, но теперь она явно приходит в упадок. В настоящий момент у США нет геополитического соперника или сопоставимой с ними по военной мощи державы, и мало что указывает на то, что Россия или Китай могут стать или станут военными соперниками США. Это потенциально весьма обнадеживающая перспектива. Мир может стать еще более мирным, а его значительные части уже являются более мирными, чем в какое-либо другое время за последние столетия. Кроме того, похоже, что демографическая динамика стабилизируется в большинстве регионов мира (за исключением стран Африки южнее Сахары). Технологическое развитие и экономический рост продолжают идти, хотя и не в том темпе, что в послевоенные годы.

Короче говоря, нет оснований ожидать, что неолиберализм может закончиться колоссальной войной или беспощадной и кровавой революцией. Более вероятно, что он истощится в ходе затяжной рецессии, центром которой будут Соединенные Штаты. Корыстолюбивые предприниматели, включая все разнообразие экономических вождей, должны быть заново усмирены в своем стяжательстве, на этот раз почти наверняка. Тогда человечество сможет продолжить свое длительное эволюционное возвращение к эгалитаризму. Позвольте обратить ваше внимание на главный момент. Личное вождество по определению является деспотичным. Однако инфраструктурная мощь современных государств поддается общественному контролю и демократизации.

В заключение позвольте высказать предварительные соображения о разумной замене изобретательского предпринимательства экономических вождей. По-прежнему сохраняет правоту и подтверждается не только неолиберальными аргументами тезис, что бюрократия не особенно изобретательна. Как и всякая крупная машина, она склонна к инерции. Это попросту означает, что одна только бюрократия не может обеспечить человечеству лучшее будущее. Возможно, анархистские мечты о кооперативных творческих сообществах могут стать более реалистичными в мире с укрощенной геополитикой и рынками. Это не означает наступления рая, потому что мы все равно столкнемся с такими серьезными вызовами, как деградация окружающей среды и нищета. Мы также будем сталкиваться со многими проблемами на личном уровне, такими как старость, особенно в быстрой стареющих группах населения, не имеющих поддержки больших (и, не будем забывать, патриархальных) семей. Но при сочетании социальной инициативы с

устойчивостью и жизнеспособностью крупных организаций мы могли бы стать более подготовленными к решению наших проблем. Это то, что мне представляется в высшей степени достойным дискуссий сегодня.

Источники/References

Abu-Lughod, J. L. (1989). *Before European hegemony: The world system A.D. 1250–1350*. New York, NY: Oxford University Press.

Allen, R. C. (2011). *Global economic history: A very short introduction*. New York, NY: Oxford University Press.

Anderson, P. (1974). *Passages from antiquity to feudalism*. London: New Left Books.

Arrighi, G. (2010). *The long twentieth century: Money, power, and the origins of our times* (Rev. ed.). London, England: Verso.

Boehm, C. (2001). *Hierarchy in the forest: The evolution of egalitarian behavior* (Rev. ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bourdieu, P. (2014). *On the state: Lectures at the Collège de France, 1989–1992*. Cambridge, England: Polity Press.

Cashdan, E. A. (1980). Egalitarianism among hunters and gatherers. *American Anthropologist*, 82(1), 116–120.

Cipolla, C. M. (1965). *Guns, sails, and empires: Technological innovation and the early phases of European expansion, 1400–1700*. New York, NY: Pantheon Books.

Cline, E. H. (2014). *1177 B.C.: The year civilization collapsed*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Collins, R. (1999a). An Asian route to capitalism. In R. Collins, *Macrohistory: essays in sociology of the long run* (pp. 26–42). Stanford, CA: Stanford University Press.

Collins, R. (1999b). The European sociological tradition and twenty-first-century world sociology. In J. L. Abu-Lughod (Ed.), *Sociology for the twenty-first century: Continuities and cutting edges* (pp. 26–42). Chicago, IL: The University of Chicago Press.

Collins, R. (2008). *Violence: A micro-sociological theory*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Collins, R. (2013). The end of middle-class work: no more escapes. In I. Wallerstein, R. Collins, M. Mann, G. Derluguian, & C. Calhoun, *Does capitalism have a future?* (pp. 37–70). New York, NY: Oxford University Press.

Derluguian, G. (1996). The social cohesion of the states. In I. Wallerstein & T. K. Hopkins (Eds.), *The age of transition: Trajectory of the world-system, 1945–2025* (pp. 148–177). London: Zed Books.

Derluguian, G. (2013). What communism was. In I. Wallerstein, R. Collins, M. Mann, G. Derluguian, & C. Calhoun, *Does capitalism have a future?* (pp. 99–130). New York, NY: Oxford University Press.

Elias, N. (2000). *The civilizing process: Sociogenetic and psychogenetic investigations* (Rev. ed.). Oxford, England: Basil Blackwell.

Finlayson, C. (2009). *The humans who went extinct: Why Neanderthals died out and we survived*. New York, NY: Oxford University Press.

Flannery, K., & Marcus, J. (2012). *The creation of inequality: How our prehistoric ancestors set the stage for monarchy, slavery, and empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Gould, S. J. (1996). An epilog on human culture. In S. J. Gould, *Full house: The spread of excellence from Plato to Darwin* (pp. 217–230). New York, NY: Harmony Books.

Hanson, S. E. (2010). *Post-imperial democracies: Ideology and party formation in Third Republic France, Weimar Germany, and post-Soviet Russia*. New York, NY: Cambridge University Press.

Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. New York, NY: Oxford University Press.

Johnson, A. W., & Earle, T. (2000). *The evolution of human societies: From foraging group to agrarian state* (2nd ed.). Stanford, CA: Stanford University Press.

Lachmann, R. (2000). *Capitalists in spite of themselves: Elite conflict and economic transitions in early modern Europe*. New York, NY: Oxford University Press.

Lieberman, V. (2003). *Strange parallels: Southeast Asia in global context, c. 800–1830 in 2 vol. Vol. 1. Integration on the mainland*. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Lieberman, V. (2009). *Strange parallels: Southeast Asia in global context, c. 800–1830 in 2 vol. Vol. 2. Mainland mirrors: Europe, Japan, China, South Asia, and the islands*. New York, NY: Cambridge University Press.

Mann, M. (1986). *The sources of social power in 3 vol. Vol. 1. A history of power from the beginning to A.D. 1760*. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Ristvet, L. (2007). *In the beginning: World history from human evolution to the first states*. New York, NY: McGraw-Hill.

Scott, J. C. (2017). *Against the grain: A deep history of the earliest states*. New Haven, CT: Yale University Press.

Silver, B. J. (2003). *Forces of labor: Workers' movements and globalization since 1870*. New York, NY: Cambridge University Press.

Tilly, Ch. (1990). *Coercion, capital, and European states, A.D. 990–1990*. Oxford, England: Basil Blackwell.

Turchin, P., Currie, T., & Whitehouse, H. (in press). Understanding the dynamics of inequality over the long term: A cultural evolution approach.

Wallerstein, I. (2001). *Unthinking social science: The limits of nineteenth-century paradigms* (2nd ed.). Philadelphia, PA: Temple University Press.

Wallerstein, I. (2011). *The modern world-system IV: Centrist liberalism triumphant, 1789–1914*. Berkeley: University of California Press.

Матеріал отримано/Received 05.02.2019

Переклад з англійського АНДРЕЯ МАЛЮКА

ГЕОРГІЙ ДЕРЛУГ'ЯН

Соціальна нерівність в еволюції людських суспільств

У статті розглядається виникнення соціальної нерівності в процесі еволюції людських суспільств та можливості її подолання. Люди відрізняються від інших приматів високим рівнем егалітаризму та альтруїзму, що забезпечував успішнішу адаптацію людських колективів на ранніх етапах розвитку суспільства. З переходом до сільського господарства і досягненням високої густоти населення виникає та інституціоналізується соціальна нерівність на підставі нерівності матеріальних активів і символічного багатства. З'являються нові інститути ведення війни для завоювання і поневолення сусідів, які займаються продуктивною працею.

У міру посилення своєї влади над природою люди також устанавлюють і зміцнюють владу над іншими людьми. Виникає вождівство як новий тип політики. На базі елементарних форм влади (політичної, економічної та ідеологічної) поступово формуються держави. Відповідні суспільства характеризуються соціальною нерівністю та жорстокістю, зокрема рабством, масовим насильством і численними людськими жертвами.

Нині старі елементарні типи влади, притаманні особовому вождівству, все ще функціонують поряд із сучасними інститутами державної та приватної бюрократії. Звідси — ключова політична суперечність нашого часу: накладення індивідуальної деспотичної влади на публічну інфраструктуру. Втім, еволюція суспільства відбувається в напрямі дедалі ефективнішого поєднання соціальної ініціативи зі стійкістю та життєздатністю великих організацій.

Ключові слова: *соціальна еволюція, соціальна нерівність, вождівство, індивідуальна деспотична влада, публічна інфраструктурна влада*

ГЕОРГИЙ ДЕРЛУГЬЯН

Социальное неравенство в эволюции человеческих обществ

В статье рассматривается возникновение социального неравенства в ходе эволюции человеческих обществ и возможности его преодоления. Люди отличаются от других приматов высоким уровнем эгалитаризма и альтруизма, обеспечивавшим более успешную адаптацию человеческих коллективов на ранних этапах развития общества. С переходом к сельскому хозяйству и достижением высокой плотности населения возникает и институционализируется социальное неравенство на основании неравенства материальных активов и символического богатства. Появляются новые институты ведения войны для завоевания и порабощения соседей, занимающихся производительным трудом.

По мере усиления своей власти над природой люди устанавливают и укрепляют власть над другими людьми. Возникает вождество как новый тип политики. На основании элементарных форм власти (политической, экономической и идеологической) постепенно формируются государства. Соответствующие общества характеризуются социальным неравенством и жестокостью, включая рабство, массовое насилие и многочисленные человеческие жертвы.

Ныне старые элементарные типы власти, присущие личному вождеству, все еще функционируют наряду с современными институтами государственной и частной бюрократии. Отсюда — ключевое политическое противоречие нашего времени: наложение индивидуальной деспотической власти на публичную инфраструктурную. Впрочем, эволюция общества происходит в направлении все более эффективного сочетания социальной инициативы с устойчивостью и жизнеспособностью крупных организаций.

Ключевые слова: социальная эволюция, социальное неравенство, вождество, индивидуальная деспотическая власть, публичная инфраструктурная власть

GEORGI DERLUGUIAN

Social inequality in the evolution of human societies

The author develops ideas about the origin of social inequality during the evolution of human societies and reflects on the possibilities of its overcoming. What makes human beings different from other primates is a high level of egalitarianism and altruism, which contributed to more successful adaptability of human collectives at early stages of the development of society. The transition to agriculture, coupled with substantially increasing population density, was marked by the emergence and institutionalisation of social inequality based on the inequality of tangible assets and symbolic wealth. Then, new institutions of warfare came into existence, and they were aimed at conquering and enslaving the neighbours engaged in productive labour.

While exercising control over nature, people also established and strengthened their power over other people. Chiefdom as a new type of polity came into being. Elementary forms of power (political, economic and ideological) served as a basis for the formation of early states. The societies in those states were characterised by social inequality and cruelties, including slavery, mass violence and numerous victims.

Nowadays, the old elementary forms of power that are inherent in personalistic chiefdom are still functioning along with modern institutions of public and private bureaucracy. This constitutes the key contradiction of our time, which is the juxtaposition of individual despotic power and public infrastructural one. However, society is evolving towards an ever more efficient combination of social initiatives with the sustainability and viability of large-scale organisations.

Keywords: social evolution, social inequality, chiefdom, individual despotic power, public infrastructural power